
МИРОВАЯ ЛАВКА
АРИЭЛЬ ТОМ 1.
ДОЧЬ ПРАЧКИ.

Amara Vey

Мировая лавка Ариэль. Том 1. Дочь прачки

«Автор»
2026

Vey A.

Мировая лавка Ариэль. Том 1. Дочь прачки / A. Vey — «Автор», 2026

Она умерла в сорок — и голос предложил ей сделку. «Всё нужное останется. Всё остальное — уйдёт само». Так ушли имя, память и вся прежняя жизнь. Осталось умение считать — и лавка, которой в этом мире быть не должно: за любой товар платят любой монетой, а прилавок сам решает, что продавать. Она не пишет ни строчки: вся бухгалтерия у неё в голове, и врать ей нечем. Двор уже сделал ставку на её гибель, а где-то выковано оружие с её именем. Бог дал ей второй шанс. Это не милость — это ставка. И рано или поздно она узнает, на что её подписали. Счёт не сходится.

© Vey A., 2026
© Автор, 2026

Amara Vey
Мировая лавка Ариэль. Том 1. Дочь прачки

МИРОВАЯ ЛАВКА АРИЭЛЬ
Том 1. Дочь прачки

Автор: Amara Vey

Аннотация

Она умерла в сорок — и голос предложил ей сделку. «Всё нужное останется. Всё остальное — уйдёт само». Так ушли имя, память и вся прежняя жизнь. Осталось умение считать — и лавка, которой в этом мире быть не должно: за любой товар платят любой монетой, а прилавок сам решает, что продавать. Она не пишет ни строчки: вся бухгалтерия у неё в голове, и врать ей нечем. Двор уже сделал ставку на её гибель, а где-то выковано оружие с её именем. Бог дал ей второй шанс. Это не милость — это ставка. И рано или поздно она узнает, на что её подписали.

Счёт не сходится.

Первое издание. 2026 год

МИРОВАЯ ЛАВКА АРИЭЛЬ
Том 1. Дочь прачки
ГЛАВА ПЕРВАЯ
СОРОК ЛЕТ

Голос открыл папку в 7:58 утра. Сам он времени не знал — время осталось в жизнях тех, чьи папки он разбирал. Но если бы знал, то отметил бы: в этот час открываются лавки, суды и больницы. Папка была сорок тысячной по счёту, и голос давно перестал чему-либо удивляться в них.

«Случай зарегистрирован. Возраст — сорок. Родственники: отсутствуют. Причины возврата: отсутствуют. Протокол: положительный. Оценка опыта: высокая».

Голос остановился.

За тридцать тысяч папок оценка «высокая» встретилась ему одиннадцать раз. Он раскрыл случай шире — и не понял, что видит: опыт есть, воспоминаний нет. Как будто человек целую жизнь прожил, а потом жизнь у него изъяли — вместе с памятью о том, кем он был.

Спросить голос не мог: вопросов не было в протоколе. Был протокол — и протокол исполняли.

«Приступаем к настройке».

— Настройке чего? — спросила она. Она ещё не привыкла к тому, что у неё снова есть голос.

«Всё нужное останется, — сказал голос. — Всё остальное — уйдёт само».

Она хотела спросить, что он называет «нужным». Хотела спросить, кто он такой, чтобы решать за неё. Хотела назвать себя — хотя бы себе, для порядка: меня зовут…

Но пять минут назад она ещё просто опаздывала — и не думала ни о какой настройке.

Маршрут был привычным: светофор, поворот, мост. Сорок лет — привычным. Но в то утро что-то мелкое, несбережённое увело её на перекрёсток, которого в маршруте не было, — что именно, она уже никогда не вспомнит. Пять минут. Пять минут.

Ей всегда говорили: судьба — это привычки. А привычки — это маршруты.

Значит, изменила маршруту — изменила судьбе. Она в такие слова не верила. До этого перекрёстка.

Ей было сорок, и она была одна: в квартире, где никто не ждёт; в деле, которое останется без владельца; после звонка, который она не приняла. Мысли пронеслись по всей этой жизни — и не назвали ни одного имени. Так бывает, когда список слишком длинный: глаза скользят, не задерживаясь.

Машина шла на неё. Она поняла за полторы секунды — не по звуку, а по тому, как фары расползлись в пятно белого света.

Она успела улыбнуться: самые важные встречи уже прошли, все несостоявшиеся — тоже. Осталось только это — белое и страшное, растущее напротив.

Фары погасли.

И она вернулась в белое — теперь уже зная, что это за белое.

Не пол, не стены — белое везде, и в нём не было ни света, ни темноты. Только голос — и мысль, которой не было ни у одной из сорока тысяч папок: она умерла, а разговор продолжается. Значит, умирать — это ещё не всё.

Она хотела запомнить этот голос — чтобы во второй жизни узнать его при встрече. Хотела назвать себя — хотя бы себе, для порядка: меня зовут…

Не успела. Слово ушло, как уходит вода из ладони: было — и нет. Только белое — и сквозь белое новый звук: дальний, глухой, тёплый, как толчок сердца.

Голос уложился в это последнее мгновение:

«Начнём заново».

Первое, что она услышала во второй жизни, был дым.

Второе — холод, пробирающийся сквозь грязные щели в бревенчатой стене.

Третье — женщина, которая качала её на руках и пела песню, каких она никогда не слышала: про то, что зима кончится, дрова дорастут, а весна всё смоет.

Она не знала, кто она. Не знала, кем была до этого белого. Не знала даже, сколько ей было: сорок лет знали свет и протокол, а не она. Она знала только одно: над ней поют. И впервые за очень долгое время — столько, сколько не помнила, — этого было достаточно.

Дымный Брод. Новорождённая дочь прачки. А в ту ночь в лесу за холмами трижды закричали стонники — впервые за сорок лет. Почему — она узнает. Но это — уже другая глава.

* * *

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

*

ГЛАВА ВТОРАЯ
ДОЧЬ ПРАЧКИ

В Дымном Броде не было ни церквей, ни судей — был лес, и лес судил. В ночь, когда дочь прачки родилась, лес закричал трижды, и старая повитуха в первый раз за сорок лет испугалась не за роженицу — за что-то ещё.

Старуха-повитуха потом клялась всем соседкам: за сорок лет она ни разу не слышала такого. Стонники кричали редко — раз в несколько лет, когда кто-то слишком жадно шёл за дровами. А тут — три крика подряд, один громче другого, и последний такой, что в горле у роженицы что-то дрогнуло.

— Не к добру, — сказала повитуха и затопила печь глубже.

Сельма не ответила. Она смотрела на дочь.

Девочка не плакала. Она смотрела в ответ — тёмными, слишком спокойными для новорождённого глазами, и Сельме на миг показалось, что её только что внимательно изучили. С головы до ног. И вынесли решение.

Плакать дочка могла только одним способом — по-младенчески. Хуже всего было то, что это работало безотказно.

— Дитя молчаливое, — пробормотала повитуха и перекрестилась дрожащей рукой.

Сельма перекрестилась тоже. А потом взяла дочь на руки и прошептала имя, которое держала про себя с той самой ночи, когда узнала, что беременна:

— Ариэль.

Дымный Брод просыпался от холода, а не от петухов.

Зимой и осенью — от холода всегда. Летом — от дыма: бревенчатые дома топились сырыми, скупыми ветками, потому что настоящих дров здесь почти не было. Лес за холмами принадлежал стонникам — живым деревьям, в глубину которых они не пускали людей. Те, кто заходил слишком далеко, возвращались — иногда. Их находили на опушке, седых, с белыми глазами, шепчущими про корни и «песню снизу».

Стонник внешне не похож ни на дуб, ни на ель: ствол у него перекручен, как канат, свитый из трёх верёвочных жгутов, с трещинами-щелями в коре, сквозь которые в тихую погоду слышно, как дерево дышит. Корни стонников уходят под землю на глубину колодца и тянутся между деревьями, как жилы. Шаг вглубь леса слышен всем — потому и пошло в Дымном Броде «правило трёхсот шагов»: дальше трёхсот шагов от опушки не ходит никто, даже барон с облавой.

Поэтому дрова были валютой. Хуже золота — золото в Дымном Броде видели только на ярмарке в Дорэне, а дрова нужны были каждый день.

Сельма платила за дрова неделями стирки — в баронской прачечной, что стояла на отшибе. Она уходила туда до света и возвращалась после темноты. Дети оставались одни.

Прачечная была старой: три корыта, вырубленные в каменном полу, чан на цепи над очагом и два журавля-колодца, из которых вода шла ледяная даже в июле. Пары оседали на брёвнах инеем; к полудню пальцы стиральщиц синели так, что иглы было не поднять. Сельма называла это место «вторым домом» — и была права: за четырнадцать лет она прожила в нём больше ночей, чем за родной печью.

Тайо, семь лет, старался за троих: носил воду, дёргал старшую сестру Миру за косу, если та капризничала, и бормотал трёхлетней Рен сказки, которые сам наполовину выдумывал. Мира приглядывала за малышами. А за самой маленькой из них — за новорождённой Ариэль.

Отец. Об отце в доме не говорили.

— У тебя есть братья и сёстры, — только это говорила Сельма, и лицо у неё делалось такое, что Тайо замолкал на полуслове. — Этого достаточно.

Соседи шептались по-своему. Кому-то чудилось знатное лицо у Сельмы в молодости; кому-то — столичный бархат, который она зачем-то продала в год приезда. Барон Олдрик однажды слушал эти разговоры дольше, чем следовало, и ничего не сказал. Он вообще мало что говорил.

Разговоры прервал однажды сам случай.

На второй год жизни Ариэль через Брод проезжал скупщик из Дорэна — старик с ящиком под мышкой, который по дороге на ярмарку покупал всё, что плохо лежало. У прачечной он остановился. Смотрел на Сельму долго, без стыда, потом снял шапку и спросил так, как не спрашивают прачку:

— Простите, госпожа. Мы не встречались? В столице?

— Не встречались, — сказала Сельма, не поднимая глаз от корыта. — Я здешняя.

— Простите, — сказал скупщик. — Издали показалось.

Он уехал. Сельма стирала в тот день дольше обычного, до темноты, хотя одежды у неё было меньше, чем всегда. Барон, шедший мимо прачечной, остановился поодаль — постоял, глядя на её спину, — и ушёл, так и не подойдя.

Соседки неделю перешёптывались. Сельма не объяснила ничего: ни им, ни дочери. Но с той зимы она заперла сундук у кровати на маленький замок — и ключ носила на шее.

Ариэль росла странной.

Не болела. Не хныкала. Спала, как взрослый человек, — глубоко и мало, и в полугода её часто находили не спящей, а просто смотрящей в потолок, как будто она решала что-то очень важное.

И росла она красавицей. Так, что соседи неловко отводили глаза.

К двум годам у неё отросли волосы — густые, чёрные, до самого пола. Не золотистые, как у детей с ярмарки, не рыжие, как у дочки мельника, — а чёрные с синевой, какие в этих краях не росли ни у кого. Пряди спадали ниже пояса и тащили за собой всю грязь Дымного Брода: без мыла их не мыли — мыли щёлоком из золы, от которого волосы становились жёсткими, как солома, а кожа ребёнка горела.

Сельма жалела дочь, как умела. Раз в месяц, в большой день, она расчёсывала чёрные волосы деревянным гребнем — долго, тихо, напевая ту самую песню про весну. Ариэль сидела неподвижно и слушала. Эти минуты были для обеих единственной роскошью в доме, где не было даже лишнего полена.

А потом Ариэль открыла глаза — по-прежнему тёмные, слишком взрослые — и посмотрела на своё отражение в тазу с водой.

Растрёпанные сцепленные пряди. Серая кожа с расчёсами. Треснувшие губы.

«Так вот какая я сейчас, — подумала она. — Кукла, которую забыли в углу».

Она не знала, кому принадлежал этот голос. И кого он называл «сейчас» — тоже не знала. Будто в доме, где она жила, была ещё одна комната — запертая, со свечой внутри, — и она ходила мимо двери, чувствуя сквозняк из-под неё.

И где-то в глубине её — тихо, как тикают часы в опечатанном доме, — шевельнулось что-то. Не память. Пока — только ощущение: она забыла что-то очень важное.

И забыла — что именно.

Стонники замолчали к рассвету — так резко, будто услышали решение. Когда-нибудь они замолчат по другой причине: от радости. Но сейчас никто в Дымном Броде этого не знал.

КОНЕЦ ВТОРОЙ ГЛАВЫ

*

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПРОБУЖДЕНИЕ

Память вернулась не сразу — и не вся.

В ночь первого настоящего мороза, без предупреждения, как будто кто-то внутри неё щёлкнул выключателем, Ариэль открыла глаза в темноте под стрехой — и увидела белое.

Не пол, не стены, не свет и не темнота: белое везде, без краёв. И голос — не со стороны, а как будто внутри: спокойный, скучающий, как у чиновника, открывающего сорокатысячную по счёту папку.

«Начнём заново», — сказал он.

Значит, было что-то, что нужно начинать заново. Что — она не знала.

Этого осколка хватило, чтобы всё в ней перевернулось. Она лежала, не дыша, и понимала простую, невозможную вещь: это не первый раз, когда она просыпается.

Где-то была другая жизнь. Там был голос. Там было белое.

И там она умерла.

Как умерла — она не знала. Кем была — не знала. Даже имени своего, прежнего, — не знала. Имя было: она чувствовала его, как подпись на конверте, у которого стёрли адрес. Подпись стоит — но что за ней, неизвестно.

Она проверила себя. Прошлась вниманием, как бухгалтер по колонкам.

Считать — умела. Не учили, а умела.

Знать цену вещи по весу — умела.

Держать спину ровно, будто за плечами стоит учитель, которого она не помнила, — умела.

И где-то на складе, ключи от которого потерялись, лежали рецепты. Она не могла их перечислить — но знала, что они есть. Как знаешь, что в доме есть вода: не глядя в бачок, просто — знаешь.

Она помнила действия. Не помнила сцен.

Из жизни вынули всё, что можно рассказать, и оставили то, что делают руки.

Речь она понимала сразу, целиком, как будто язык ложился в голову, вода в форму. Соседи за стеной спорили про цену дров; Тайо бормотал Рен сказку, наполовину выдуманную, — и Ариэль могла бы продолжить её за него слово в слово.

Пробовала писать. Углём, на половице, тайком от всех: буквы выходили кривые, косые, ползучие. Рука двухлетней девочки не держала ничего. Она смотрела на каракули и в первый раз за эту жизнь злилась.

Голова была взрослой. Чьей — неизвестно.

Список она составила в ту же ночь. Про себя, без бумаги: память она держала как сейф — есть, и всё.

Умею считать. Не знаю почему.

Умею торговаться. Не знаю где.

Не умею терять голову. Не знаю, где этому научилась.

Имя — есть. Какое — нет.

А потом она увидела, как стирает мать.

Это случилось через неделю. Ариэль, вцепившись в подол, дотащилась до баронской прачечной — и пожалела на всю вторую жизнь. Три корыта. Ледяная вода из ручья, мутная, с палой листвой. Щёлок, который не отстирывал, а сдирал. Руки Сельмы — в трещинах, у ногтевых лож — тёмные, до крови.

Мать работала с рассвета до темноты и ни разу не пожаловалась.

«И это та женщина, — думала Ариэль, сжимая кулачки, — которая после смены сидит у моей колыбели и всё равно поёт. Такого в прошлой жизни у меня не было никогда».

Она остановилась на этом слове.

Прошлой.

Откуда оно взялось, она не знала. Но слово стояло прочно, как стул, — и село так естественно, будто занимало это место всегда.

В ту же ночь она твёрдо решила: всё поменяется. Но сначала — деньги.

К ближайшему торжку у неё был готов план.

Соль в Броде стоила дороже, чем в её прежнем мире, — это она знала. Чего она не знала, так это здешних мер: в Леонгарде соль продавали горстями, а платить Тайо было приказано по фунтам — по весу, который Ариэль считала честным. Тайо сделал всё точно, как ей велели. План был её, руки — его, ошибка — её.

Мешок обошёлся дороже, чем он же стоил в лавке гильдии. Семь медяков — всё, что семья отложила на крупу, — ушли в никуда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.